

ГОД В СТУДИИ МЕЙЕРХОЛЬДА

(Окончание. Начало на 10—11-й стр.)

— Долой самодержавие! Да здравствует свобода! — кричали в толпе, и мимо расступившихся солдат народ двинулся дальше по Невскому, увлекая и нас с собою.

В дни премьер в Александринском театре публика всегда была избранная: в ложах — дамы в вечерних открытых платьях, в бриллиантах, в шляпах с высокими зретами словно султаны гвардии; в партере — цвет интеллигенции, пресса, представители искусства; на галерке — заядлые театралы, студенческая молодежь. В этот вечер публику привлекали на спектакль и желание быть на юбилее Юрьева, и «модное» имя режиссера. Но публика сегодня опаздывала, вероятно, по тем же причинам, что и мы. Впрочем, несмотря ни на что, зал был полон.

Студийцам, не участвовавшим в отдельных картинах, разрешено было смотреть спектакль, стоя в проходах. В первом действии мы все участвовали в сцене маскарада и должны были ждать за кулисами. Зато второе и третье действия я простояла в партере, возле одной из лож бенеуара. И когда во время сцены бала я переводила глаза на соседнюю ложу, мне казалось, что действие перекинулось в зал, и «маскарад» продолжается в зрительном зале. Впрочем, это, может быть, было невольным отражением того, что нам внушал Мейерхольд на репетициях: люди—маски, и «если маскою черты утаены, то маску с чувств снимают смело...»

Даже для императорской сцены «Маскарад» был необычайно пышным, многоцветным, богатым спектаклем. Для каждого действия были особые занавесы — маскарадный, балльный и прочие. Особенно торжественно траурно выглядел в последнем акте черный кружевной занавес с веночком из роз посредине. Горели настоящие свечи, костюмы были блистательны. Поистине это был последний спектакль империи!

Но публика партера равнодушно смотрела представление, не разогрело оно и галерку. Только мы, студийцы, замесили от волнения, ревниво проверяя, точно ли выполняют актеры режиссерские мизансцены — такие, нам казалось, важные и значительные.

В последнем действии, в конце спектакля я и еще одна студийка, как полагалось, чинно прошли в своих черных платьях и шляпках через комнату, где в кресле сидел трагический Арбенин, прошли в раскрытые настежь двери в центре сцены, за которыми

слышались монотонное похоронное чтение и траурная музыка Горин-Горайнов, игравший в спектакле, догнал нас, игриво заглянул под шляпки, сказал шепотом какую-то ерунду и с лицемерно печальным лицом прошел вперед. Мы — за ним. А потом — почти бегом за кулисами — в нашу общую студийную уборную, быстро сбрасываем свой траур, переодеваемся, кое-как стираем грим — и скорее в зал, где по окончании спектакля должно было состояться чествование юбиляра.

Мы поспели вовремя. Из директорской ложи вышел на сцену к собравшейся труппе, с Юрьевым впереди, старичок в золоченом мундире и белых панталонах — сам казавшийся каким-то персонажем из театрального мира. Это был представитель «двора его императорского величества». Срывающимся точким фальшивым голосом он объявил, что за двадцатипятилетнюю службу в императорском театре артист Юрьев награждается именными золотыми часами от государя императора.

Возможно, я неточно передаю то, что он сказал, но главное я запомнил: театр безмолвствовал. Юрьев, как полагалось, кланялся, принимая подарок, но в зале не раздалось ни «ура», ни аплодисментов. И старичок в белых панталонах, неловко повернувшись, исчез за кулисами. Когда же на сцену вышли делегации от разных петроградских театров, гром аплодисментов приветствовал каждое выступление, словно зрители хотели подчеркнуть свое многозначительное молчание в начале празднества.

Мы искали Мейерхольда в толпе актеров — и не нашли. Вдруг сейчас он оказался здесь чужим и лишним. Спектакль явно не имел успеха.

Мы расходились со странным чувством какого-то «конца». Брат и сестра, разыскав Всеволода Эмильевича, затерялись где-то, и я с одной из студийек должна была возвращаться домой, на Васильевский остров. Трамваи не ходили, всюду стояли патрули. Мы тащились в обход по разным переулкам, а когда добрались до Николаевского моста, его развели перед самым нашим носом. Усталые, голодные, мы махнули рукой и спустились к Неве, хотя проход через реку был уже заперщен. По узенькой, черневшей на льду тропке кое-как перебрались мы на другой берег и так и упали на гранитные ступени у подножия сфинксов. Было тихо. Близился рассвет. А



Вс. МЕЙЕРХОЛЬД и Ю. ОЛЕША.

мы еще не знали, что наступает порывный день России без царя.

Утром меня разбудили выстрелы. Едва накинув платье, бегу к окну. По нашей обычно такой пустынной и тихой 4-й линии громят грузовики, полные матросов, солдат, рабочих с красными флагами, поющих, кричащих, размахивающих винтовками.

— Революция!

...Я не помню, шел ли еще «Маскарад» в Александринском театре в то тревожное время. Во всяком случае ни сестра ни брат, ни я уже в нем не участвовали. Занятия студии весной прекратились. На Бестужевских курсах была неразбериха. Сестра с братом вскоре уехали в Москву на кинофабрику — ставить какую-то картину. Надо было думать, как жить дальше, и я стала искать себе работу.

...Я видела Всеволода Эмильевича сравнительно молодым — в тот период, когда он только завоевывал себе славу и положение, видела его в студии, где он был доверчивее, откровеннее, естественнее, чем где-либо, видела его в работе, в кругу молодежи, дома — все это создало в моем представлении образ необычайного обаяния и какой-то «свой». Я никогда не могла его «осуждать» слишком строго.

Вскоре после Февральской революции в Петрограде в Михайловском театре было организовано «собрание

деятелей всех искусств» под председательством А. М. Горького, для того чтобы дать высказаться художественной интеллигенции (там великолепно говорил Маяковский). Мейерхольд выступил на этом собрании крайне неудачно. Его не стали слушать, шум поднялся страшный. А Мейерхольд стоял на краю сцены, длинный, худой, скрестив на груди руки, высоко подняв характерную голову, и молча ждал. Когда шум постепенно стих, он повернулся и быстро ушел со сцены. Он был тогда неправ, даже как-то нетактичен в своем выступлении, но мне было жалко его и понравилось, как он по-актерски мужественно вынес осуждение зала.

Много лет спустя, уже в Москве, я, конечно, ходила на все спектакли Мейерхольда — одни мне нравились («Лес», «Ревизор»), другие были спорны, но мне всегда казалось, что я понимаю режиссера лучше, чем другие, лучше вижу и чувствую его замысел. И когда он выходил кланяться, постаревший, седой, я глядела на него с нежностью и не жалела ладоней, аплодируя.

Я не могу, конечно, причислять себя к ученикам Мейерхольда, но среди людей, с которыми мне посчастливилось встречаться и у кого я могла учиться, имя Всеволода Эмильевича Мейерхольда для меня дорого и незабываемо.